

Надсон Семен Яковлевич

Проза. Дневники. Письма

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-311.8
ББК 84-4
С30

С30 **Семен Яковлевич Н.**
Проза. Дневники. Письма / Надсон Семен Яковлевич – М.: Книга по Требованию, 2024. – 662 с.

ISBN 978-5-519-98547-5

ISBN 978-5-519-98547-5

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2024
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

Пѣвецъ „тревоги юныхъ силъ“.

Родная сторона, не требуй отъ пѣвцовъ
Величія души героевъ и пророковъ!

.
Мы только голосъ твой, и если ты больна,
И наша пѣснь больна... Въ ней вопль твоихъ
страданій,

Видѣнья твоего болѣзненнаго сна,
Кровь тяжкихъ ранъ твоихъ, тоска твоихъ
желаній!

С. Надсонъ.

На рубежѣ 80-хъ годовъ въ русской литературѣ вырисовываются три замѣчательныя фигуры, проникнутыя общимъ настроеніемъ, взаимно какъ-бы дополняющія одна другую, и если не равныя по силѣ таланта, то одинаково симпатичныя и интересныя: мы разумѣемъ Новодворскаго, Гаршина и Надсона.

Всѣ трое очень похожи другъ на друга даже по внѣшнимъ чертамъ жизни, по ея трагической развязкѣ... Новодворскій и Надсонъ умерли отъ чахотки почти въ юношескомъ возрастѣ, первый 28, второй 24 лѣтъ; Гаршинъ, нѣсколько позже, самъ наложилъ на себя руки въ припадкѣ психическаго расстройства. Короткая жизнь Новодворскаго прошла въ сплошныхъ мученіяхъ голода и медленнаго умиранія въ когтяхъ нищеты; недолгій путь Надсона весь омраченъ борьбою съ смертельнымъ физическимъ недугомъ, Гаршина—съ недугомъ душевнымъ. Это все одинъ и тотъ же грустный мотивъ, съ небольшими лишь варіаціями. Еще поразительнѣе сходство нравственныхъ фізіономій писателей.

Старшій изъ троицъ, Новодворскій, какъ настоящій сынъ того времени, когда молодежь поголовно жаждала слиться съ сермяжнымъ людомъ, принять на себя его грубую оболочку («опроститься», какъ тогда выражались), отличался внѣшней суровостью и аскетической

сухостью, но за этой показной холодностью скрывалось кипучее благородное сердце. Изъ біографіи его мы знаемъ, какъ любилъ онъ свою мать и сестеръ, какъ выбивался изъ послѣднихъ силъ, чтобы спасти ихъ отъ голодной смерти. Несчастный въ личной жизни, онъ болѣлъ душою не о себѣ, а о родномъ народѣ, вѣчно мучаясь сознаніемъ своей оторванности отъ простого, темнаго люда, сознаніемъ того, что этотъ людъ безконечно далеко отстоитъ отъ него по своимъ понятіямъ.

Другой, не менѣе самоотверженный народолюбецъ, добровольно ходилъ за далекій Дунай для того, чтобы пролить тамъ свою кровь такъ же, какъ проливали ее тысячи и десятки тысячъ безвѣстныхъ простолюдиновъ; онъ былъ до того безупречно чистъ и обаятеленъ, что даже у поэта, никогда не грѣшившаго особенной сердечностью, вырвались при воспоминаніи о немъ такіа задушевные строки:

Я ничего не зналъ прекраснѣй и печальнѣй
Лучистыхъ глазъ его и блѣднаго чела,
Какъ-будто для него земная жизнь была
Тоской по родинѣ недостижимо-дальней!

Столь же прекраснымъ рисуется и образъ третьяго, Надсона, какъ изъ его стиховъ, такъ и изъ біографическихъ данныхъ. Честь же и слава поколѣнію, имѣвшему такихъ представителей!

Глубоко-родственные другъ другу по настроенію и характеру идей, три молодые писателя отмежевали себѣ очень близкія, но вполне своеобразныя области и формы художественнаго творчества. Въ произведеніяхъ Новодворскаго-Осиповича жизнь и страданія молодежи 70-хъ, начала 80-хъ годовъ отразились съ наибольшей конкретностью, можно сказать, непосредственностью, и, быть можетъ, въ этой именно прикованности его образовъ къ текущей дѣйствительности и къ ея временнымъ условіямъ кроется причина сравнительно преходящаго успѣха Новодворскаго, какъ художника. Его писательская оригинальность заключалась въ скорбной насмѣшливости надъ собственнымъ безсиліемъ и неудачливостью, въ скрытомъ подъ юморомъ гнѣвъ противъ всевластной житейской рутины. Элементъ юмора почти вовсе отсутствуетъ въ трагической музѣ Гаршина, которая ушла въ анализъ сокровеннѣйшихъ изгибовъ душевной жизни своей эпохи, интересовалась по преимуществу психіатрическими сюжетами и темами. Наконецъ, Надсонъ явился пѣвцомъ-лирикомъ того же поколѣнія, смѣнявшихся въ его душѣ настроеній, тревогъ и мечтаній..

Однако, что же это было за поколѣніе и какія причины обу-

словливали его тревожное, вѣчно мятущееся, временами почти болезненное настроеніе? Лежалъ ли недугъ въ его крови, какъ нѣчто фатальное и неисцѣлимое, унаслѣдованное отъ отцовъ? Или, напротивъ, оно явилось на свѣтъ здоровымъ и жизнерадостнымъ и объ немъ нужно лишь выразиться словами того же Надсона объ его молодости: «замерла, какъ прерванный напѣвъ»?..

Передъ молодымъ русскимъ обществомъ, выросшимъ на почвѣ уничтоженнаго крѣпостного права, лежала великая историческая проблема: сдѣлать освобожденный народъ счастливымъ, довольнымъ... Но великія задачи легко и скоро рѣшаются лишь въ наивныхъ юношескихъ мечтаніяхъ; суровая дѣйствительность часто ставитъ на ихъ пути непреодолимыя преграды, о которыя разбиваются не только мечты, порой и самая жизнь благородныхъ мечтателей. Нужно быть стоикомъ по натурѣ, надо обладать выдержкой бойца, закаленнаго въ жизненныхъ испытаніяхъ, чтобы съ яснымъ духомъ и веселымъ лицомъ идти навстрѣчу не только побѣдѣ, но и возможному поражению. И такіе философы-стоики, конечно, отыскиваются во всякую эпоху и во всякомъ поколѣніи, иногда въ большемъ, иногда въ меньшемъ количествѣ, но подавляющее большинство составляютъ всегда не они, а люди средніе, люди—не герои, люди не практическаго подвига. Мы не хотимъ, впрочемъ, сказать этимъ, что они представляютъ собой нравственно худшіе элементы поколѣнія: нѣтъ, очень часто это бываетъ краса и гордость его—сердца съ утонченной нервной организаціей, съ болѣзненно-страстной жаждой добра, правды, любви.

Вотъ-это-то большинство, при встрѣчѣ съ великими жизненными преградами, и не находитъ въ себѣ достаточной силы воли и энергии и отдается очень скоро рефлексіи, тревогамъ и сомнѣніямъ всякаго рода, заболѣваетъ припадками апатіи и мрачной ипохондріи. Одного начинаетъ терзать неувѣренность въ собственныхъ силахъ и способностяхъ служить великому дѣлу; другой, напротивъ, чувствуя въ себѣ, какъ герой Лермонтова, «силы необъятныя», не можетъ вѣрить въ самое дѣло, въ возможность быстрого и скорого воплощенія идеала въ жизнь; третій, сознавая необходимость огромныхъ жертвъ со стороны личности, томится жгучею жаждой «личнаго счастья», жаждой, которая и вступаетъ въ бурный конфликтъ съ призывами долга. Варьируются и усложняются подобнаго рода колебанія и сомнѣнія до безконечности... Вотъ какую мѣткую характе-

ристику такимъ людямъ своего поколѣнія даетъ, напр., Новодворскій: «Это алчущая правды, вѣчно страдающая, вѣчно рвущаяся къ свѣту ни-пава, ни-ворона... Она родилась между воронами, въ вороньей обстановкѣ; родилась впечатлительной, сердечной, доброй и сразу стала чувствовать себя неладно въ вороньей средѣ. Она задыхается, ищетъ воздуха. А тамъ, у подножія божества, спокойно расположились павы... Неотъемлемая особенность ея характера—неудовлетворенность и стремленіе къ идеалу. Ни вороны, ни павы этого не испытываютъ. У первыхъ ничего подобнаго не зарождалось въ головѣ, а вторыя успокоились на лонѣ какой-нибудь до того широкой (или узкой) идеи, или на такомъ громадномъ запасѣ силы, что передъ нею всѣ сомнѣнія, терзанія—нуль! Нашей ни-павѣ, ни-воронѣ завидно это олимпійское спокойствіе, она такъ энергично рвется къ богинѣ, что, наконецъ, можетъ достать до нея рукою и съ восторгомъ смотритъ внизъ, на громадный вороній міръ, копошащійся тамъ, далеко. Но тутъ-то и оказывается, что павой ей никогда не бывать, не потому, чтобы ее ощипали, а просто потому, что въ ней самой много вороньяго: она страстно любитъ воронъ... Вотъ и начинастъ чудить ни-пава, ни-ворона. Она протягиваетъ руку внизъ, зоветъ воронъ, не смотря на то, что павамъ это, быть можетъ, вовсе нежелательно; потомъ, видя, что вороны не обнаруживаютъ ни малѣйшаго поползновенія летѣть такъ высоко, она схватываетъ богиню за подолъ платья и тянетъ внизъ, къ воронамъ; когда и эти желанія ни къ чему не приводятъ, она, больная, измученная проклинаетъ и божество, и воронъ и умираетъ... ни-павой, ни-вороной».

Не менѣе характерныя жалобы и признанія можно найти въ произведеніяхъ почти всѣхъ молодыхъ писателей 70-хъ годовъ. Но настоящей жертвой мучительнаго разлада идеала съ жизнью явился Всеволодъ Гаршинъ. Въ его произведеніяхъ муки сомнѣній принимаютъ уже прямо трагическую форму: достаточно вспомнить «Красный цвѣтокъ», «*Attalea princeps*». Гордая пальма, цѣной жизни пробившаяся къ желанному свѣту и простору, спрашиваетъ, умирая: «Только-то?»... И этотъ отчаянный вопль потрясаетъ до глубины души самаго вѣрующаго читателя. Здѣсь чувствуется правда и сила накупившаго страданія, и никто, конечно, не подумаетъ упрекнуть или обвинить Гаршина въ недостаткѣ вѣры и мужества...

Но погодите читатель. Время идетъ, лучшіе, даровитѣйшіе люди поколѣнія сойдутъ со сцены,

И полѣзутъ изъ щелей
Мошки да букашки...

Самодовольные фразеры и полоумные выродки поспѣшатъ охладѣть ко всѣмъ «высокимъ словамъ» вродѣ любви къ человѣчеству, къ родинѣ, гражданскаго долга и честности и начнутъ мечтать о томъ, «чего не бываетъ на свѣтѣ», о «черныхъ розахъ», о «блѣдныхъ, непокрытыхъ ногахъ» и всей прочей дребедени извращеннаго чувства и фантазіи. И все это будетъ объявлено продуктомъ вновь открытой у человѣчества мозговой линіи, новымъ словомъ новаго искусства! Очевидно, многолѣтнія, искреннія страданія лучшей части общества не могутъ не оставить въ немъ глубокихъ разрушительныхъ слѣдовъ: создается настоящая неврастенія духа, на почвѣ которой и распускаются такъ пышно болотные цвѣты жеманнаго и узколобаго «декаденства»...

Оставимъ, впрочемъ, въ покоѣ этихъ пигмеевъ выродившагося поколѣнія. Ихъ старшіе братья не рядились въ маски и не ихъ вина, если въ жизни имъ суждены были одни благіе порывы: любовь ихъ къ родинѣ равнялась выпавшимъ на ихъ долю страданіямъ... Въ этомъ смыслѣ моментъ былъ глубоко-содержательный и въ высокой степени поэтической; ощущалась почти мучительная потребность въ появленіи крупнаго поэта, сына своего времени, который ударилъ бы съ могучей силой по сердцамъ и самъ получилъ бы отъ этихъ благодарныхъ сердецъ неувядаемый вѣнокъ славы... Однако, по бѣдности ли художественныхъ силъ поколѣнія, по тревожной ли неустойчивости общественной психики или по другой какой причинѣ, гениальнаго писателя, выразителя чувствъ и идей эпохи, русское общество такъ и не дождалось вплоть до настоящей минуты и законная доля славы досталась талантамъ болѣе скромнымъ. За Новодворскимъ послѣдовалъ Гаршинъ, за Гаршинымъ — Надсонъ.

Не трудно понять, почему первый изъ нихъ имѣлъ наименьшій успѣхъ при жизни, а теперь уже можетъ быть названъ почти совершенно забытымъ писателемъ. Метафоричность рассказовъ Новодворскаго, множество всяческихъ недомолвокъ, намековъ и многоточій не могли сдѣлать ихъ доступными огромному большинству читающей публики.

Популярность Гаршина несравненно, конечно, значительнѣе, какъ значительнѣе и самый талантъ; нельзя, однако, не признать, что характеръ этого таланта былъ слишкомъ исключителенъ: больной

художникъ разрабатывалъ черезчуръ однотонныя, мрачно-исключительныя темы. Только на лирѣ Надсона нашлись струны, отвѣчавшія чувствамъ и мыслямъ огромнаго числа людей его времени; въ его пѣсняхъ отразились горе и радость почти всего поколѣнія—и здѣсь-то, думаемъ мы, лежитъ разгадка того необыкновеннаго успѣха, который выпалъ на ихъ долю.

Подобно всему поколѣнію, Надсонъ выступилъ въ путь съ бодрой душой, съ свѣтлой, несокрушимой вѣрой въ идеалы добра, свѣта и любви и въ близость ихъ воплощенія въ жизни. Его юношескія стихотворенія 1878—1879 гг. представляютъ почти сплошной гимнъ этимъ идеаламъ, наивно-страстный призывъ къ людямъ-братьямъ сплотиться подъ знаменемъ труда и борьбы за общее дѣло. Достаточно назвать заглавія этихъ стихотвореній («На зарѣ», «Идеалъ», «Впередъ»), чтобы видѣть, что отъ нихъ вѣетъ мужествомъ и бодростью. Но и тѣ изъ нихъ, которыя начинаются въ минорномъ тонѣ, кончаются почти всегда бодрымъ призывомъ:

Впередъ за міръ и за людей!..

Надеждой и силой вѣетъ даже отъ такого грустнаго по своей темѣ стихотворенія, какъ «Похороны»:

Пусть же, зарытый землей,
Онъ отдохнетъ отъ труда и волненія,
Этотъ апостолъ труда и терпѣнья
Нашей отчизны родной!

Поэма «Христіанка» имѣетъ въ виду показать,
Какъ люди въ старину когда-то
Умѣли вѣрять и любить.

Другая поэма, «Іуда», полна непримиримой ненависти (весьма характерной для кроткаго всегда Надсона) ко всѣмъ измѣнникамъ и предателямъ. Но ярче и сильнѣе всего выразилось это бодрое душевное настроеніе молодого поэта въ знаменитомъ стихотвореніи «Другъ мой, братъ мой...» Оно характеризуетъ собой цѣлую полосу русской жизни съ ея наивной молодой восторженностью и не менѣе наивной вѣрой въ могущество идеи, и ужъ это одно обстоятельство, — не говоря о прелестной, безукоризненно-поэтической формѣ, — давало бы право этому стихотворенію войти въ исторію русской литературы...

«Другъ мой, братъ мой...» написано въ концѣ 1880 г., но уже много раньше въ поэзію Надсона врывается скорбная нота сомнѣнія и разлада, которая съ этихъ поръ непрерывно растетъ и, наконецъ, подобно темной тучѣ, закрываетъ весь душевный горизонтъ поэта.

Какъ мы уже видѣли, Надсонъ, дѣйствительно, началъ свою литературную карьеру съ «безпечной и ясной душой», съ жизнерадостнымъ, вѣрующимъ взглядомъ на жизнь и на людей. Мрачныя, разочарованныя нотки, попадающіяся въ его стихахъ еще почти отроческаго періода, дѣйствительно, отзываются малой глубиной и недостаточной пережитостью, и читателю не нужно обладать особенной прозорливостью, чтобы сразу почувствовать это. Другое совсѣмъ дѣло — утверждать, будто съ годами пессимизмъ Надсона все больше и больше покидаетъ его, будто скорбь его поэзіи вообще была скорбью дѣланной и чисто-подражательной; утверждать это — значитъ, по нашему мнѣнію, совсѣмъ не знать надсоновской поэзіи, совсѣмъ не имѣть художественнаго чутія, не умѣть различать искренность отъ фальши, ложь отъ истины. Скорбь Надсона, муки обуревавшихъ его тревогъ и сомнѣній съ годами, напротивъ, все растутъ и обостряются; примиренія съ людскою пошлостью такое сердце отыскать не могло; поэтъ, который всего за два, за три мѣсяца до смерти писалъ негодующей рукою:

Стыдъ гаснетъ, совѣсть спитъ... Ни проблеска кругомъ,
Одно ничтожество свой голосъ возвышаетъ! —

не могъ уйти весь, съ головой, въ заботы о «стилѣ», хотя бы и самомъ безупречномъ. За небольшой періодъ своей литературной и поэтической дѣятельности Надсонъ далъ намъ, во всякомъ случаѣ, достаточное количество данныхъ, опредѣляющихъ основной типъ его нравственной природы и поэтическаго таланта; по нимъ можно судить безошибочно и о томъ пути, которымъ онъ пошелъ бы въ будущемъ. И ужъ, разумѣется, это не былъ бы путь русскихъ «парнасцевъ»!

Разсмотримъ же, однако, главные мотивы надсоновской поэзіи и раскроемъ, насколько это возможно въ короткомъ этюдѣ, ихъ внутренній смыслъ и значеніе. Нельзя, конечно, отрицать, что для поэта-художника мотивы эти довольно однотонны; на читателя, который приступаетъ къ чтенію поэта въ поискахъ главнымъ образомъ «эстетическаго» наслажденія, поэзія Надсона очень скоро можетъ нагнать скуку. Но, если предъявлять къ писателю другого рода требованія, если имѣть въ виду иную публику, то поэзію Надсона слѣдуетъ признать, напротивъ, даже очень богатой по разнообразію затронутыхъ въ ней мотивовъ и сюжетовъ. Быть можетъ, его не признастъ своимъ пѣвцомъ та часть его поколѣнія,

которую мы въ самомъ началѣ выдѣлили, какъ исключительную и, по-своему, счастливую группу; но за то все огромное большинство, несомнѣнно, нашло въ Надсонѣ самаго полного выразителя и истолкователя своей психической жизни.

Среди этихъ плѣняющихъ своей задушевностью мотивовъ первое мѣсто, какъ и у всякаго лирическаго поэта, занимаетъ у Надсона любовь къ женщинѣ. И посмотрите, читатель, какое это хрустально-чистое, благородное чувство—любовь поколѣнія, бывшаго такимъ несчастнымъ въ жизни и заслужившаго отъ своихъ враговъ столько грязныхъ, позорящихъ клеветъ!

Если любить—безконечно томиться
Жаждой объятій и знойныхъ ночей,
Я не любилъ...—

разсказывать намъ поэтъ:

Я молился предъ ней
Такъ горячо, какъ возможно молиться!

Все, о чемъ смѣлъ онъ мечтать, было «слово привѣта на чистыхъ устахъ, не оскверненныхъ ни злобой, ни ложью»; его увлекала «гордая мысль къ красотѣ идеала, чтобъ, полюбивъ, безконечно любить». Не станемъ доказывать дальнѣйшими выписками эту извѣстную всѣмъ и каждому чистоту надсоновской любви, лучшее украшеніе его поэзіи. Достаточно будетъ напомнить еще такое чудное стихотвореніе, какъ «О любви твоей, другъ мой, я часто мечталъ» и весь рядъ стихотвореній, посвященныхъ памяти рано умершей любимой дѣвушки. Изъ нихъ особенно характерно. «Все это было, но было какъ-будто во снѣ», гдѣ молодой поэтъ терзается мыслью о недолговѣчности человѣческаго чувства и безсиліи самой памяти сохранить дорогой образъ:

Безъ вѣчности чувства
Смысла въ немъ нѣтъ! Если-жъ нѣту любви,
нѣтъ искусства,
Правды, добра, красоты, нѣтъ души у земли!

«Душа у земли»—вотъ чего прежде всего требуетъ Надсонъ отъ жизни и всѣхъ ея даровъ, въ томъ числѣ и любви. Безъ «души» красота его не плѣняетъ, и въ стихотвореніи: «Только утро любви хорошо» онъ рисуетъ передъ читателемъ безотрадную картину любви безъ связующаго людей общаго дѣла и общихъ убѣжденій (кстати спросить: что бы сдѣлалъ поэтъ съ менѣе чистымъ воображеніемъ изъ этого стихотворенія, гдѣ автору все время приходится скользить

по границѣ цинизма и гдѣ, однако, онъ не пробуждаетъ въ читателѣ ни тѣни грязнаго чувства?).—Ему легче думать, что любимая дѣвушка умерла, нежели знать, что она не раздѣляетъ его взглядовъ на жизнь; послѣ перваго поцѣлуя «подъ липою душистой» онъ уже говоритъ своей милой о жертвахъ и борьбѣ, которыя она встрѣтитъ, идя съ нимъ рука объ руку.

Но если счастье знать, что другъ твой не измѣнитъ
Завѣтамъ совѣсти и родинѣ своей,
Что выше красоты въ тебѣ онъ думу цѣнитъ,
Ея отзывчивость къ страданіямъ людей,
Тогда въ моей душѣ нѣтъ за тебя тревоги,
Дай руку мнѣ, дитя, и прочь минутный страхъ:
Мы будемъ счастливы, такъ счастливы, какъ боги
На недоступныхъ небесахъ!..

Конечно, все это въ высшей степени характерно для русской молодежи недавняго времени, представителемъ которой былъ Надсонъ.

Столь же опредѣляющей чертой надсоновской любви является отсутствіе въ ней беззавѣтности, способности безраздѣльно и всецѣло отдаться чувству личнаго счастья и радости; у нашего поэта къ этому чувству всегда примѣшиваются сомнѣнія и тревоги личнаго или общественнаго характера.

Не весь я твой—меня зовутъ
Иная жизнь, пныя грезы...
Отъ нихъ меня не оторвутъ
Ни ласки жаркія, ни слезы,—

заявляетъ онъ еще въ одномъ изъ самыхъ раннихъ стихотвореній; но тотъ же мотивъ яркою нитью проходитъ и по большинству его болѣе зрѣлыхъ произведеній, посвященныхъ любви. Таковы стихотворенія: «Не гордымъ юношей», «Не вини меня, другъ мой» и, особенно, «Позабытые шумнымъ ихъ кругомъ».

По несравненно большую роль, чѣмъ любовь къ женщинѣ, играетъ у Надсона любовь къ родинѣ. Любили, конечно, родину и поэты прежнихъ эпохъ, Пушкинъ, Лермонтовъ, Жуковский; но тамъ это была скорѣе барская—спокойная, созерцательная любовь, умиленіе передъ красотами родной природы, любовь «изъ окна кареты» къ «пьянымъ мужичкамъ» и т. п.

Съ отрадой, многимъ незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
Съ рѣзными ставнями окно,—

говорится въ знаменитомъ стихотвореніи «Отчизна». Но Лермонтовъ, разумѣется, ничего не дѣлалъ и не собирался дѣлать для того, чтобы у его «мужичковъ» было полное гумно и крытая соломой изба; любовь его къ родинѣ была чувствомъ, хотя и глубокимъ, но пассивнымъ, лишеннымъ дѣйственной силы. Не по этой ли причинѣ и звучитъ такъ холодно, даже такъ прозаично для великаго виртуоза формы, какимъ былъ Лермонтовъ, этотъ стихъ: «Съ отрадой, *многимъ незнакомой*»?..

Некрасовъ былъ первымъ на Руси поэтомъ, въ любовныхъ признаніяхъ котораго родинѣ зазвучала искренняя и глубокая *страсть*. Не «разливы» только «рѣкъ ея, подобные морямъ» и даже не «покрытая соломой избы» и пляшущіе въ праздникъ «мужички» внушили эту страсть великому поэту-гражданину, а многострадальная судьба, «переполнившая землю» скорбь родного народа...

О, горько, горько я рыдалъ,
Когда въ то утро я стоялъ
На берегу родной рѣки,
И первый разъ ее назвалъ
Рѣкою рабства и тоски!..
Что я въ ту пору замышлялъ,
Собравъ товарищей—дѣтей,
Какія клятвы я давалъ—
Пускай умретъ въ душѣ моей,
Чтобъ кто-нибудь не осмѣялъ!

Такихъ клятвъ и такихъ рыданій русская поэзія не знала до Некрасова...

Поколѣнію Надсона, воспитавшемуся на стихахъ «музы мести и печали» и на завѣтахъ Добролюбова, который, «какъ женщину, любилъ родину» и училъ «умирать» за нее, выпало на долю завидное счастье видѣть во-очію плоды этого ученія—самоотверженную борьбу молодыхъ силъ за грядущее обновленіе родины. Но борьба окрыляетъ,—и вотъ почему, при всемъ душевномъ разладѣ, при всей смутѣ налетающихъ порой сомнѣній, въ пѣсняхъ Надсона, посвященныхъ родинѣ, въ извѣстной степени отразился героизмъ эпохи. У больного, умирающаго поэта вырываются такіа, полныя огня и страсти, строки:

...Страна моя родная,
Когда-бъ хотъ для тебя я могъ еще пожить!..
Какъ я-бъ любилъ тебя, всю душу отдавая
На то, чтобъ и другихъ учить тебя любить!